«Детское чтение для сердца и разума»
Н. М. Карамзин

РОМАН-ГАЗЕТА 6

Детская

2007 (96)

ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК

СТРАНИЧКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ИМЕНА:
Рихард Зорге

Виктор Ганшин

Однажды прожитая жизнь

ISSN 1684-0895
9 771684 089001 >

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Отрывки из воспоминаний о военном детстве известного советского журналиста.

- Виктор Ганшин
  -

Виктор Ганшин
Однажды прожитая жизнь

(Воспоминания о Великой Отечественной войне)

Художник А. Иткин

Чугунок с картошкой с трудом помещался в небольшой топке лежанки. Для неё напилены коротенькие полешки, вполовину меньше тех, что для русской печи. Немного бересты, щепочек, оставшихся от лучины, нащипанной косарём для самовара, — и вот уже загудело, затрещали сухие дровины. Хлопает дверь, и огонь, пустив дымовой язык, выглядывает из печурки, лизнув чело, кажется, ему любопытно — «кто вошёл?»

Можно ставить чугунок. В воду падают огоньки, шипят, крутятся, оставляя мутный след. Проходит минут десять, жар всё сильнее, и вот уже запузырилась, забулькала вода у края, обращённого к огню. Поленцами тихонько, осторожно поворачиваю чугунок, чтобы и с другого бока картошка уварилась побыстрее. Пробую верхнюю картошину, вода обжигает пальцы — жестковата. Дрова, однако, почти прогорели, можно чугун толкнуть поглубже, кочергой подгребаю уголья, чтобы жар был со всех сторон. Ну, кажется, готова! Сегодня наша очередь варить первыми.

Вон Феклуха уже намыла свою картошку, а два солдата разминают концентрат.

— Мама, готово!

Она не разрешает мне сливать, боится, что обварюсь.

Собираемся вчетвером у края лавки. Мама и бабушка сидят, я стою, Толик сидит в шкафике, где он и спит (на ночь дверцы закрывают), на одеяльце и ждёт. Бабушка дует на картошку, солит её, протягивает братишке. Он тоже смешно дует на картошку:

— Голячая, боюсь.

— Да не горячая, на, потрогай.

Он нерешительно протягивает руку и опять старательно дует, крупинка соли попадает ему в глаз, короткое раздумье: заплакать или не стоит. Но картошина так вкусно пахнет, а есть так хочется, слезы остаются «невостребованными».

Сомнёшь клубенёк, он треснет, выступит сахаристая мякоть, и сразу сглотнёшь слюну.

Мама даёт нам по маленькому кусочку хлеба, укляклого, сладковатого. Вчера я полдня тёр свёклу, турнепс, картошку, прежде чем бабушка замесила тесто. Спасибо, Орехов сделал тёрку. Взял два бруска, к ним приколотил цинковую пластину, пробил её с тыльной стороны гвоздями, а на деревяшках по две выемки вырезал, чтоб за края кадушки держалась, — мировая тёрка получилась!

Над чугунком поднимается пар, я перебрасываю горячую картошку с ладони на ладонь, поддеваю ногтем тонкую липучую кожицу, слизываю с пальцев крахмальную мякоть…

Полгода назад я заходил в мой любимый магазин на углу Кировского проспекта и Песочной. За гнутыми стёклами на прилавках было столько вкусной еды! Но я почему-то чаще всего вспоминаю, как соскабливал ножом масло с кусков булки, которую мне за завтраком подкладывала мама. «Вот был дурак-то», — мысленно досадую я.

— Больсе не хочу. — Братишка отказывается от смешной двухголовой картошины.

А я гляжу на пустеющий чугунок и думаю, что, пожалуй, съел бы его один.

Я обжигаюсь, мякоть пристаёт к нёбу, больно зубам, и всё равно такое наслаждение чувствовать, как похрустывают крупицы соли, рассыпается, стоит нажать языком, картошина, сотни крошечных иголочек вонзаются в дёсны, нечем дышать, открываешь рот и втягиваешь воздух.

— Не спеши, — говорит осуждающе бабушка, — грех так спешно есть.

А я и не спешу, наоборот, смакую, у меня даже где-то около

ушей покалывает. Может, поэтому бабушка и говорит: «Едят так, что за ушами трещит».

— Давно ли он за столом повторял «не хочу», «не буду», а теперь… — Мама смотрит на меня.

И мне уже кажется, что это было действительно так давно, если было…

* * *

Да, видно, в самом деле беда не ходит по белу свету одна, всегда ведёт с собой подружек, сеющих худобу. Не успели опомниться после пожара, чуть прижились в доме тётки Александры, как ещё один удар буквально поразил всех нас. Перестал, как-то вдруг, совершенно неожиданно, ходить Толик, он бегал уже вовсю, за ним было не углядеть. И вот — *такое*…

Почти не стоял на ножках, виновато улыбаясь, чувствовал как бы неловкость за свою немощь, всё норовил сесть на корточки, плюхнуться на попку. Мама корила его, покрикивала на маленького лентяя, но скоро поняла, что братишка перестал ходить. Он был послушным и некапризным ребёнком, легко мог занять себя какой-нибудь нехитрой забавой. Его все любили — самый маленький, белоголовый, трогательный, одна милота. Особенно охотно его тискали, брали на руки, угощали бойцы, нередко он играл кусочками пилёного сахара, складывал их как маленькие кубики, не догадываясь, что их можно сунуть за щёку или хотя бы полизать.

Матери давали всякие советы. Один раз Толика осмотрел военврач, щупал, распрямлял коленки, держал за руки. Результат был малодельным: может быть, сильнейший испуг и нервное потрясение, а может, переохлаждение — ничего определённого. Он целыми днями томился в душной, провонявшей избе, ему было даже не дойти до немецкой каски у двери, куда мочилась пацанва, подползал к ней и, стоя на коленках, стыдливо решал свои дела.

Мама решила пойти с Толиком в Клин — должны же там быть какие-то врачи! Правда, как дойти, от мороза «глаза скрипят, а веки смерзаются», заметила бабушка, зачем-то ходившая «домой» — где ещё недавно стоял наш дом.

Толика собирали долго, надевали рейтузики, штопаные-перештопаные чулки, потом с трудом натягивали суконные бахилки — ноги не должны иззябнуть, и так больные. Ему со вчерашнего дня не давали пить, в дороге же будет не до *этого*.

Повязали натуго голову платком, напялили шапку — не

налезала. Он пыхтел, но не жаловался, не сопротивлялся. Даже пальтецо, которое было сшито на вырост, оказалось сейчас тесным, столько на нём было одёжек. Бабушка с трудом подняла его:

— Пудик, ну право пудик!

Потом я часто его так называл…

Узлы большой бабушкиной шали Дуняха накрепко завязала у мамы на спине. И Толик, точно маленький, оказался у мамы перед грудью — разве на руках долго удержишь такую тяжесть, ведь надо идти тридцать километров. А так хоть руки свободные: в одной узелок, в нём — варёная картошка, два ломтя нашего хлеба, соль, «жуличек» (так бабушка называла маленькую бутылочку с молоком), коричневый ленинградский ридикюль с документами, какое-то братишкино бельецо. Тоже всего набралось изрядно.

— Просись, может, попутка догонит.

Бабушка перекрестила маму. Толик шевелил головёнкой, приноравливаясь к своей берложке.

— Ну, счастливо, кулюн…

Я пошёл их провожать. Бедный снег, он так намёрзся, что жалобно повизгивал, когда валенки приминали его. Деревья угнетал могучий иней, они стояли красивые, пушистые, и только галки — откуда только они взялись! — перелетая с ветки на ветку, чернели в кронах. Они горласто переругивались и стряхивали слюдяную пыль…

Стояли лютые холода, казалось, навек выстудило всю округу. Отшумели страшные пожары, сокрушившие деревни на пути немецкого отступления, и морозы пошли рука об руку с бойцами вдогон за врагом, откатывавшимся просёлками, никогда прежде не мятыми такой пропастью шин и гусениц. Лет сорок спустя в фильме «Подсолнухи» я увидел всё это снова: избу, набитую людьми так, что ночью все спали стоя, ни сесть, ни лечь было негде. Погорельцы и солдаты искали укрытия от жгучего, беспощадного холода.

…Мы шли посреди улицы мимо занесённых пепелищ, только кое-где торчали трубы. А вот и наши тополя, высоченные, крепкие. Я знаю, с той стороны кора у них вздулась и стала чёрно-коричневой. Закрыть глаза, и бабушкин дом уже смотрел в мою сторону всеми пятью окнами. Наверху светёлка, слева за заборчиком, старые доски которого в желтоватом лишайнике, — яблони, сливы, тернов венец, орешник.

Вот я сейчас открою глаза и всё увижу на прежнем месте. Пожалуйста, пусть так и будет! Вымытые ступени крыльца, дорожка, уходящая за дом, на огород, банька, за ней — сад, по

правую руку за домом — пчельник, сенной сарай. Мама поскользнулась, я выпустил её руку и открыл глаза. Обгоревший колодезный журавль, как зенитка, был нацелен в небо. Даже под снегом видно, как грудились кирпичи там, где была русская печь. «Недаром нас теперь зовут погорельцами»…

Стало страшно и совсем холодно.

Мама обернулась ко мне, платок, волосы, брови, ресницы — всё в инее, только щёки чуть-чуть порозовели.

— Ну всё, проводил, иди домой.

«Домой»… В эту чужую избу, набитую народом, где днём всё время топилась печка. В ней всегда стоял чугунок, варили картошку такие же, как мы, погорельцы, бойцы — кашу, хозяйка подогревала пойло корове. По зальдевшим окнам текли всё время струйки, когда сидевшие на лавках бойцы вставали, на шинелях

темнели пятна. Одни уходили, ненадолго становилось посвободнее, но вскоре новая часть приходила в деревню, и опять толчея несусветная.

Вот на полу расстелили плащ-палатку, на ней раскладывают кучки сухарей, к каждой вдобавок — по кусочку сахара, по две папиросы.

Один за другим подходят бойцы, прячут сухари в карманы, закуривают.

Весёлоглазый, совсем молодой парень протягивает мне сухарь.

— Спасибо, я не хочу.

— Откуда ты такой вежливый?

— Из Ленинграда.

— Как же тебя сюда занесло, земляк?

— С мамой и братиком приехали к бабушке, а немцы дом сожгли. Мы теперь погорельцы…

Боец сказал, что он из Стрельны. Я не знал, что это такое, а переспросить постеснялся. Но слово запомнилось, военное оно: Стрельна — стрелять.

…Мама остановилась, смахнула варежкой иней с волос, посмотрела назад, не идёт ли какая-нибудь машина, взяла у меня узел.

— Я не хочу туда…

— Ну тогда иди погуляй. Только недолго, а то замёрзнешь, вон какой холод.

Толик задремал, хмурил бровки, видно, что-то привиделось.

— Поиграй с ребятами.

Там на уцелевшем конце деревни, наверное, собралась вся ребятня. Днём в избах редко кого застанешь, мороз нипочём, когда на улице столько всего — машины, танки, обоз идёт, тягач протащил подбитый немецкий самолёт. Но мне было плохо, часто дразнили. Немец забрал у меня шапку, и пришлось ходить в зелёном бабушкином платке.

Мама махнула мне рукой и ускорила шаг: зимний день короток, а путь предстоял неблизкий — до Клина тридцать километров. Да ещё с «пудиком». Она шла ходко. Дорога чуть поднималась в гору, и скоро мама стала похожа на девочку, потом рука с узелком срослась с телом, и наконец вся фигура превратилась в маленький столбик, который всё уменьшался и уменьшался. И вот я уже не пойму, вижу маму или нет.

Мне стало так одиноко и грустно, что слёзы сами выкатились из глаз. Я увидел, как они пробили двумя точками снег. «А интересно, можно ли доплакаться до земли? Вряд ли. Такой снежище, наверное, только струёй кипятка из самовара можно

пробить. Вот бы его в сугроб поставить! Какой бы пар поднялся здесь!»

* * *

Мама вернулась с Толиком через два дня. Принесла какое-то лекарство — мази, растирания. Они не помогли. Толик, как сказал один офицер, стал маленьким Ильёй Муромцем. К нему приходил играть Шурка, ровесник из погорельцев, а так чаще всего он гостил на коленях бойцов.

— У меня такой же, только Володькой зовут.

— А мой постарше, но волосы и веснушки как у Толяна.

— Жених для дочек моих, вырастешь — приезжай к нам в Саратовскую область, места хорошие, хлебородные, Волга рядом.

Некоторые из только пришедших бойцов, не зная о недуге братишки, манили его, протягивая конфету, кусочек сахара, сухарик.

…Наступило лето. Утром я сажал его в песок около завалинки, а сам играл с мальчишками, ни на минуту не забывая о Толике. Мама строго-настрого наказывала: «Головой за него отвечаешь». Бояться надо было трёх угроз: огня, змеи (за рекой рядом лес), привезённого быка Бурана. Толик играл со щепочками, что-то строил, возился с песком, специально принесённым для него из канавы. Иногда он завистливо поглядывал, как его дружок Шурка носится между домами, играет в пятнашки, в прятки с другими ребятами.

Однажды из-за него я сам чуть не стал заикой. Он сидел, как всегда, полузакопанный в песок. Тёплый летний день, Бурана нет, всё спокойно. И вдруг — отчаянный крик Толика. Во мне всё оборвалось, кинулся к нему. Вроде цел, змеи не видно. Тычет, ревя, куда-то в сторону огорода:

— Он… утащил… мою…

Через минуту, схватив полено, я уже мчался за петухом — он выхватил у братишки лепёшку, которую, уходя на огород, дала ему бабушка…

* * *

С куском кабанятины — мама на что-то выменяла её в Зеленцове, куда мы ходили первый раз после пожара, — возвращаемся в Глухино. Дорога идёт всё лесом и лесом. Луна нехотя выбралась из-за деревьев, их тени забором лежат на

голубом снегу. Он пищит, поскрипывает под ногами. Мы спешим. И вдруг тяжёлый и страшный взвыв. Я чувствую, как сразу взмок лоб, мгновенно, за секунду. У меня в руке палка, я присмотрел её в деревне, чтоб выстругать из неё саблю. Больше у нас ничего нет. Чувствую, как мамина рука сжимает мою. Я должен защитить её. И хотя у меня всё холодеет внутри, стараюсь не подать вида.

«Неужели они услышали запах кабанятины?» Вот снова. Вой будто взлетает ввысь и потом медленно падает словно по дуге. Кажется, он всё ближе. «Бросить мясо? Им на поживу? Ни за что!» Мы почти бежим, косясь на свои тени. Дорога вся в снежных рубчатых вафлях, выдавленных резными шинами. На минуту-другую забываюсь, вспомнил Ленинград. На площади у кинотеатра «Арс» торговал пожилой лысый мороженщик с подмигивающим глазом. Он всегда спрашивал, как зовут «молодого человека», прежде чем достать вафельные кругляшки, между которыми помещалось мороженое. На каждой из них было какое-то имя. Моё не вызывало затруднений, чтоб сделать «колёсико» со сладкой холодной прослойкой. А вот Ёник из нашего двора, помню, поставил лысого в тупик.

И снова долгий, протяжный вой точно прокатился по снегу, но впереди — большой прогал, а за ним — мост и деревня.

Теперь уже почти не страшно, считай, дошли…

* * *

Воздушный бой начался где-то совсем в стороне от нашей деревни, но вся эта грохочущая карусель — морозный воздух дрожал от рёва моторов, треска пулемётных очередей — докатилась и сюда. Наших было четыре, немецких шесть самолётов, и казалось, им всем тесно в небесной вышине. Схватились за лесом, сначала было и не разобрать, что творится, но скоро всё стало понятно. День стоял солнечный, ясный, слюдянисто блестели снега, лес темнел за рекой.

Мне на мгновение показалось, что я смотрю фильм «Валерий Чкалов»: также кувыркались серебристые самолётики, разлетались, сближались. Но бой-то шёл настоящий, взаправдашний!

— «Фоку» сбили! — крикнул боец, и уже через несколько минут «эмка» и полуторка с бойцами помчались в сторону Димитрова — эта деревня была уже в Калининской области, километрах в четырёх от нас.

Вернулись они примерно через час и привезли двух немецких лётчиков. Я не знаю, почему их допрашивали в нашей избе, но

почти всё её «население» сгрудилось на нарах, у печки. На немцев смотрели так, будто их никогда не видели, хотя не прошло и двух месяцев, как пришли наши.

…За столом сидел полковник и два человека в кожаных куртках без петлиц и других знаков различия. Один из них хорошо говорил по-немецки, чётко, без запинок. Он задавал вопросы. На столе лежали документы, отобранные у лётчиков, карта, блокноты, записные книжки, фотографии.

Первый немец, с жёлтыми зубами, темноволосый, смуглолицый, отвечал спокойно и деловито. Левой брови у него не было, а щека под ней блестела туго натянутой кожей, видимо, после ожога, ухо с этой стороны точно собаки изгрызли. Его спрашивали, где базируется его часть, сколько машин в её составе, какие боевые задачи она выполняет. Воевал он уже третий год, был награждён.

Его увели, привели второго. Он был невысокого роста, белобрыс, рыжеватые веснушки заселили всё его лицо. Видно, он нервничал, желваки так и вздувались на скулах, прозрачные глаза смотрели зло и напряжённо. Его ещё не успели ни о чём спросить, как он быстро заговорил высоким, почти бабьим голосом. Немца не перебивали, а он всё больше распалялся, потом внезапно умолк, полез в карман за платком, но его, видимо, не оказалось, он растерянно вытер рукавом вспотевшее лицо.

— Он говорит, что его имя и звание мы можем прочесть в отобранном удостоверении, что он летал на многих самолётах, бомбил Москву, Киев, Ленинград. Уже был однажды сбит, но убежал из плена. Германия всё равно победит, русские морозы помешали завершить войну ещё в прошлом году, но нынешним летом всё будет кончено. Он не боится казни. Утверждает, что его не сбили, вынужденная посадка произошла из-за неисправности в одном из двигателей. И это, скорее всего, дело рук саботажников, которых допускают на аэродром.

— Ну что ж, он достаточно рассказал о себе. Ждёт расстрела? Я думаю, он доживёт теперь до победы, *нашей* победы, русский полковник ему это обещает. — Полковник провёл пальцем по четырём шпалам в одной из своих петлиц.

— По крайней мере, такой шанс теперь у него появился. Можешь перевести ему.

— Сколько лет этому вояке?

— Двадцать четыре…

— Значит, в тридцать третьем было уже пятнадцать. Успели голову набить фашистской стряпнёй, успели. Ладно, всё, поехали.

Боец с винтовкой в руке повёл немца к дверям. И тут произошло неожиданное. Бабы дружно кинулись на лётчика. Кто-

то неумело ткнул его кулаком в плечо, кто-то рванул за ворот, чья-то рука потянулась, чтобы вцепиться в его короткие волосы. Бабушка — я просто был поражён — моя добрая, кроткая бабушка два раза ударила гитлеровца сапёрной лопаткой, где она только её взяла!

— Москву бомбил, Ленинград! Ишь, бахвалится!

Часовой загораживал пленного, оттесняя плечом женщин, стал выталкивать его из избы в сени.

У крыльца уже стояла полуторка, куда залезли два бойца и немец, потом привели и второго, в «эмку» сели полковник и штабисты в кожанках…

* * *

Фронт ушёл, а сколько совершенно замечательных вещей оставил — то найдём в лесу здоровенный ком листовок, сброшенных с самолёта, то немецкую винтовку, то

неразорвавшийся снаряд. Лучшей разжиги для костра не было: с шипением разгораясь синевато-белым огнём, они даже в самую сырую погоду выручали нас.

А раз с Колей Головкиным положили на костёр почти целый ящик с ракетами и, ожидая забавного зрелища, залегли в канаве метрах в тридцати. Прошло минуты две, мы уже ополовинили малину, набранную в Колькину пилотку, когда началось.

Сначала глухо ударило, и во все стороны полетели головешки, уголья, горящие доски ящика. Потом одна ракета полетела в нашу сторону, упала позади в траве и там долго шипела, суетилась, почему-то напомнив мне курицу. Вверх почти ни одна из ракет не взлетела. Они выпрыгивали из полусгоревшего ящика и мчались куда попало. Зрелище было жутковатое, мы проглядели красавицу: все они одного цвета — зелёные. Одна из них, взмыв ввысь, упала точно в пилотку с недоеденной малиной.

Колька не выкинул свою пилотку, кто-то подарил ему из бойцов. Но вид она потеряла, ягоды прикипели к потрескавшейся клеёнке, подшитой изнутри, а дно её почти прогорело, стало тёмно-коричневым и долго, хотя Колька несколько раз стирал её, тяжело пахло палёным.

Сколько ребят покалечила и погубила война, даже уйдя из наших мест! От моего сопартника Миши Орлова нашли только руку с зажатым в кулаке кусочком хлеба, видимо, другой он что-

то отвинчивал, расковыривал, «исследовал»…

…Лето 42-го. Сапёры строят дзоты, подновляют окопы, обсекают правый, наш, берег мелководной Яузы.

— Что, неужели немцы снова сюда придут?

— Война как пила, кто сильнее потянет — на той стороне и одолень, а уж опилки во все стороны летят, — говорит пожилой боец.

— Худое у тебя сравнение… А чего ж лесина, выходит, ничья?

— Как ничья, очень даже чья. Сейчас пока нашу пилят, а потом дело пойдёт, и до ихних рёбрышек доберутся. А народ всё равно жалко. Коль уж словами играться, так под пилой хуже всего вон им, — он ткнул рукой в угол, где, укладывая спать детвору, копошились бабы.

* * *

Идём на погорелье, там огород, родное место. Я прибил упавший с истлевшего шеста скворечник, в нём снова живут птицы — у них есть дом, а у нас его больше нет…

Братик не мог ходить, бабушка помогала ему угнездиться у меня на закорках. Она гладила его белёсую головёнку:

— Не напечёт тебе, кулюн?

Он морщился, шершавые, мозолистые ладони цепляли лён его волос. Толик был для меня тяжеловат, «пудик», говорила о нём бабушка.

— Не души! — время от времени покрикивал я на него, когда схваченные замочком пальцы оказывались у меня под подбородком. Братишка покорно расцеплял ручонки, но ненадолго. Его дыхание щекотало мне шею, он становился всё тяжелее и тяжелее.

— Опять спишь? — Я подкидывал его.

Он туже обхватывал меня за плечи, посапывая почти в затылок. Но вон уже наш сарай, банька, сад, только не видно знакомой крыши, и засохла старая яблоня, уродившая в прошлом году всего два яблока…

* * *

…Изба пуста, так бывает не часто — столько народу живёт в ней. Мама ушла рано в поле, бабушка на огороде. На скамье стоит квашня, в которой месят тесто. Сверху лежит тёрка, сделанная Ореховым, я таскаю по ней турнепсину. Её сочная

плоть превращается в пахучую белёсую кашицу, горка которой потихоньку растёт на дне. Нужно расправиться ещё с шестью штуками, они, как маленькие поросята, лежат под лавкой. Вечером бабушка замесит тесто, а завтра будет печь хлебы. Получаются они обычно красивыми, со смуглой крепкой горбушкой, но мякоть всегда жидковатая, укляклая. Муки-то мало.

Я ёрзаю по тёрке разлохмаченным куском, косясь в окно: ребята возятся у разбитого немецкого грузовика. Мне на улицу пока нельзя, надо закончить дела, да и Толик ещё спит. И вдруг за спиной раздались лёгонькие шлепочки. Я оглянулся: он вышел на середину избы, где на половицах лежали солнечные квадраты окон, в рубашонке до пупа, маленький, смешной, растерянный. Значит, не забыл за эти полгода, как надо ходить! Братик поджимал пальцы на босых ножонках, махал руками и улыбался. Я от неожиданности уронил кусок в квашню.

— Ты как это? Что, сам?

А через минут пять мы, радостно хохоча, натягивали ему штанишки. «Что же надеть на ноги-то?» Ведь он всегда сидел около избы в своих тёплых ватных бахилках. Насилу отыскал старые сандалики, они были явно ему малы, но Толик не хотел подавать виду. «А вдруг простудится опять! — обжёг меня испуг. — Нет, лучше потащу его на себе, а уж где-нибудь на подходе спущу на землю».

Мы раза два проверили, как ему ходится. Вроде ничего, хотя, чуток покружив по избе, залез на лавку:

— Я посижу, устал!

Наконец пошли. Кажется, бригада полола картошку, за сараями. Раза два я спускал братишку на траву. Он семенил в своих сандаликах, упал, но быстро поднялся и опять затопал. «Ходит, ходит! Поправился!»

Мама не удивилась, увидев нас. Мы иногда приходили в поле, приносили ей попить. Я присел, Толик разжал ручонки и сполз на землю. А через секунду его сандалики замелькали на меже, он, прихрамывая на комьях, бежал к матери. Она подняла голову и вскрикнула как-то по-птичьи, хотела броситься навстречу, но теперь ноги отнялись у неё.

Толик доковылял до мамы и сел прямо на гряду, видно, устал. Он улыбался, потом схватил её за подол и встал. Мать словно очнулась, вскинула его на руки и заплакала горько, всхлипывая, стащила с головы косынку и закрыла ею глаза.

Работавшие рядом Танюха и тётя Лена молчали…

* * *

Ударили первые морозы, а снега всё нет и нет. Земля стала гулкой и твёрдой. Кто-то бежит впереди меня, и я вижу, как совсем по-летнему густые облака пыли вылетают из-под ног, обутых в опорки. Ранний вечер, улица тронута розовым закатом, избы на противоположной левой стороне пучат окна, на правой, по которой я бегу, лежат тени, не резкие, чуть размытые.

Улица скатывается от серёдки к нашему концу, и я хорошо вижу, как отец и мать идут вместе, рядом. Во мне всё рвётся от радости, восторга, испуга. Увидеть бы себя тогдашнего в эту минуту! Отец, живой, стройный, в военной форме, здесь, в Глухине, посреди войны! Это был 43-й год. Он поднимает меня на руки, целует.

Отец даёт мне нести чемодан. Мне тяжело, я то и дело перекидываю его из одной руки в другую, но нести его — счастье. У дома ждёт четырёхлетний братишка. Он не помнит отца, и

когда наступает минута встречи, происходит смешная заминка. Отец останавливается в нескольких шагах и манит его, маленький, закутанный в платок братик смотрит на незнакомого мужчину, потом поворачивается и припускает к бабушке, стоящей на крыльце. Уже в избе отец берёт его на руки, и тот весь выгибается, отпихивается, старается как можно дальше отстраниться от отца. Какие-то сладости слабо помогают им «подружиться».

Отец приехал на два дня. Утром, нагрев бидон чая, пошли на пожарище. Пировали в уцелевшей баньке, рядом с которой стояла самая любимая бабушкина яблоня, два года назад на ней уродилось всего два яблока. Жена деда Максима тётка Анна сказала: «К войне!»

…Бабушка незаметно подтолкнула Толика к отцу, все заторопились. В Степанцеве обещали попутку до Клина. Отец, наклонив голову, вышел из баньки, надел фуражку, поправил пояс. Всё. Надо уходить. У всех увлажнились глаза, только братишка остался сидеть на лавке — так и не успел привыкнуть к гостю.

…Я снова нёс заметно полегчавший чемодан.

— Встретимся в Ленинграде! — Отец поцеловал меня, погладил по голове. — До свидания, Виктор!

* * *

И осенью 44-го мы вернулись в родной дом на Кировском проспекте. Начиналась уже другая жизнь.